



Борис Друян

---

**ФАРВАТЕР  
СУДЬБЫ**

Борис Друян  
**Фарватер судьбы**

«Геликон Плюс»

2019

УДК 82.32.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Друян Б. Г.**

Фарватер судьбы / Б. Г. Друян — «Геликон Плюс», 2019

ISBN 978-5-00098-223-5

Книга известного литератора, редактора, журналиста Бориса Друяна состоит из двух частей. Первая – автобиографическая повесть о военном и послевоенном детстве, о друзьях на флоте, в Ленинградском университете, о работе на целинных землях Казахстана и в Сибири. Во второй части – рассказы из будней редактора. Это зарисовки о писателях и книгах: об Анне Ахматовой, Лидии Корнеевне Чуковской, Данииле Гранине, Михаиле Дудине. Автор сумел рассказать о литературной жизни тех лет просто, занимательно и ярко.

УДК 82.32.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00098-223-5

© Друян Б. Г., 2019  
© Геликон Плюс, 2019

## Содержание

Все это было, или Причудливый фарватер судьбы	6
Голоса из военного детства	6
Тридцать три года спустя	19
Возвращение	22
Конец ознакомительного фрагмента.	30

**Борис Друян**  
**Фарватер судьбы. Воспоминания**

© Друян Б., 2019

© «Геликон Плюс», макет, 2019

## Все это было, или Причудливый фарватер судьбы

### Голоса из военного детства

*Я помню руки матери моей,  
Хоть нет ее, давно уж нет на свете...*

*Николай Рыленков*

Всегда удивляюсь, даже завидую тем, кто помнит себя и окружающих с самого раннего детства. У моей памяти четкий отчет: начало войны, когда мне было почти пять лет. А до этого – лишь редкие, короткие проблески, неосозаемые ощущения.

Вот мама ведет меня гулять через проходные дворы на набережную Обводного канала. Она крепко держит меня за руку, опасается, что я, не дай Бог, упаду. Мне это не нравится, я умудряюсь вывернуться и тут же плашмя падаю в густую летнюю пыль. Мама меня поднимает, отряхивает, ласково укоряет, и мы тихо идем вдоль залитого солнцем канала. Внезапно раздаётся пронзительный звук сирены воздушной тревоги. Мама быстро бежит к дому, прижимая меня к груди. А противная сирена все воет и воет...

Хорошо помню вечер, когда не оказалось дома отца. Еще бы, он всегда после работы подбрасывал меня высоко-высоко к сияющей хрусталем люстре. Мне весело и немного страшно, но у отца такие сильные руки. Он хохочет, во рту его блестит золотой зуб. Мама отнимает меня, и мы уже все громко смеемся...

А сейчас мне тоскливо. Я хнычу. Мама утешает меня, говорит, что папа ушел на войну, скоро вернется и опять мы будем вместе.

Вскоре я совсем ненадолго увидел отца и, как оказалось, в последний раз. Я точно знаю, где это произошло и как это случилось. Мы жили в четвертом дворе дома 18 по Измайловскому проспекту, недалеко от Варшавского вокзала. Проспект пересекают Красноармейские улицы – бывшие Роты Измайловского полка. На них располагались казармы. Так случилось, что мой отец, рядовой красноармеец, оказался в одной из этих казарм.

Рядом с проспектом, на 9-й Красноармейской, у глухих ворот мы долго стоим с мамой. Наконец ворота открываются, появляется колонна солдат и поворачивает направо. Мой отец небольшого роста, он шагает в конце колонны. Мама поднимает меня на руки и кидается навстречу ему. Видимо, отцу разрешили выйти из строя, он берет меня на руки и целует, целует, что-то говорит мне и маме.

Колонна уже движется по Измайловскому, огибая слева нечто диковинное: одетые в военную форму женщины медленно несут гигантского размера длинное, толстенное чудовище. Конечно, я лишь много позже узнал, что это чудо-юдо называется аэростатом воздушного заграждения. Тогда же я никак не мог отвести от него взгляда, не слышал, что говорит мне отец. Колонна повернула направо – на 2-ю Красноармейскую и стала втягиваться в ворота казармы. Отец передал меня плачущей маме, расцеловал нас и скрылся за воротами...

Много-много лет спустя я жил в доме по соседству с этой самой казармой, ежедневно проходил мимо нее, заглядывая через открытую дверь проходной во двор. Однажды, когда военных куда-то перевели и здание ремонтировали, я беспрепятственно вошел внутрь, тша-

тельно обследовал все помещения, пытаюсь представить отца, стоящим вот у этого окна, или шагающим вот по этому длинному коридору, или спускающимся вот по этой старой лестнице. Жилось ему, как и всем ленинградцам, невероятно трудно. Старшая сестра моей мамы Елизавета Александровна Шувалова вспоминала, как в страшную зиму 1941–1942 года навещала в казарме вконец исхудавшего моего отца. Сама измученная голодом, она приносила ему драгоценные гостинцы – что-то из своего скудного блокадного пайка. По натуре он был щедрым, веселым человеком, до войны постоянно помогал ее семье из пяти человек. Ее рано умерший муж Михаил и мой отец Григорий были большими друзьями. По праздникам все родные собирались в маленькой отдельной квартирке Шуваловых на проспекте Огородникова. За столом веселились, пели песни и разыгрывали друг друга...

И сейчас закрою глаза – и отчетливо вижу вокзал, толпы людей с чемоданами, узлами, плачущих детей, суматошную посадку в теплушки. Мама, ее мама – бабушка Аня, средняя мамина сестра Прасковья – тетя Паня с грудным сыном Эдиком, мой сводный десятилетний брат Лёня и я эвакуируемся в Костромскую область. Там родина бабушки, мамы и ее сестер. Нас провожает тетя Лиза, она пока остается. (Это пока растянулось на два бесконечных блокадных года). В теплушку набилось много женщин и детей. Долго и шумно устраиваемся. Мы угнездились недалеко от дверей. И вот поезд судорожно дернулся и поплыл мимо платформы, забитой провожающими. Мама со мною на руках стоит около дверей. Я вижу бегущую рядом с вагоном плачущую тетю Лизу в сбившейся черной соломенной шляпке. Она что-то кричит, все отстает и отстает от вагона и машет нам рукой...

Прерывисто гудит паровоз, поезд резко, с визгом замедляет ход, останавливается. Люди выпрыгивают из вагонов и бегут по полю. А над теплушками с ужасным ревом проносятся немецкие самолеты. Мама падает на землю, но так расчетливо, что я оказываюсь под нею. Мне страшно, душно и тяжело. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец наступила тишина. Паровоз короткими гудками зовет тех, кто успел разбежаться от состава. Медленно, очень медленно трогается поезд. Мама вбрасывает меня в теплушку кому-то в руки, кто-то помогает ей и брату Лёне взобраться вслед за мной, кого-то она сама затаскивает за руку в вагон. Все возбужденно переговариваются. Мама ни на шаг не отпускает меня от себя, обнимает, шепчет на ухо ласковые слова. Мне всегда так хорошо, тепло и уютно рядышком с нею...

Смутно помню долгую дорогу до Галича. Оттуда на лошадях пятьдесят километров ехали до Чухломы, а потом – до глухой деревеньки Федоровское.

Поселились в двухэтажном бревенчатом доме у близких родственников – Шараповых. У Федора Сергеевича и Елизаветы Ивановны четверо детей: Катя, Тоня и их младшие братишки Миша и Саша.

Нам отвели комнату на втором этаже. Конечно, было тесновато, ведь нас как-никак шесть человек. Впрочем, когда похолодало, мы с братом преимущественно обретались на первом этаже на просторной русской печи с широкими полатами. Там вместе с Мишей и Сашей спали, баловались среди валенок и разного тряпья. Запомнилось, как в недрах этой самой печи меня мыла мама. Но это было всего один раз, когда спешно ремонтировалась баня...

Однажды мы проснулись рано утром от гула голосов. Сверху, с полатей, нам было видно все до мельчайших подробностей. Колхозники по очереди подходили к столу, за ним стоял человек, а перед ним весы с гирьками, на которых он взвешивал коричневатую массу. Каждый человек укладывал ее в свою посудину и не торопился уходить, принимая участие в общем разговоре. Никто из нас не мог понять, что же делят там внизу.

И вдруг меня осенило: это же халва, такой пичкали меня в Ленинграде родители! Я ее безропотно ел, а вот плитки шоколада иногда втихаря прятал на узкие полочки с внутренней стороны обеденного стола. План созрел немедленно. Тихонько сполз с печи, между людских ног пробрался к столу, схватил с чаши весов кусочек халвы, сунул себе в рот и заорал, кашляя, захлебываясь и плача. Из рта пошла густая пена и пузыри. Оказалось, схватил я в рот вовсе не халву, а столь же дефицитное во время войны мыло – не жидкое и не твердое, а нечто так похожее на халву.

Люди громко хохотали, а маме было не до смеха. Она пальцем выковыривала изо рта у меня гадость, которую я не всю успел проглотить, долго заставляла меня полоскать рот. Потом я съел большую горбушку хлеба и долго сосал кусочек колотого сахара, уничтожая мыльное послевкусие. Мама утешала меня и, как всегда, обнимала и оглаживала, хотя за воровство, да еще на виду у всего честного народа, я заслуживал хорошей трепки.

Небольшая деревня Федоровское располагалась в живописном месте. Невдалеке находилось Чухломское озеро, из него вытекала спокойная речка Вёкса, которая плавно огибала деревню. С нашей стороны берег пологий, топкий, заросший густым камышом. На противоположном берегу, на крутом откосе, возвышались полуразрушенные строения древнего Авраамиева монастыря. С довоенных времен там размещалась МТС – машинно-тракторная станция. Левее, вниз по течению, перегораживала Вёксу плотина. Здесь же – мост-переправа на другую сторону реки и действующая мельница.

Справа от деревни узкая дорога убегала мимо маленького болота к деревеньке Туруково. Маленькое болотце, как все его называли, переходило в густой, полный грибов и ягод подлесок, который плотным полукольцом обнимал Федоровское.

Со всех четырех сторон деревня наша была огорожена длинными жердями. Широкий проход освобождался от жердей дважды в сутки: ранним утром пастух уводил стадо на выпасы, а вечером пригонял обратно.

Посередине деревни стояла ветхая деревянная часовня. В ней хранилось колхозное зерно. Никто, кроме кладовщика и председателя колхоза Мумрина, заходить туда не имел права. Рядом с часовней в окружении высоких плакучих ив располагался довольно глубокий пруд. На его берегу возвышался большой двухэтажный домина. До революции он принадлежал какому-то богатею, а сейчас в одной из комнат помещалось правление колхоза. Все остальные комнаты были давно заброшены, окна разбиты, в дверных проемах – пустота.

Нам, малышам, летом разрешалось бегать лишь до загородки, но мы добирались и до мельницы, и до болотца, где росла сочная клюква и морошка, на окраине леса собирали чернику, бруснику, грибы. Особенно много было рыжиков. А вот зимой на улице морозище, погулять нас выпускали ненадолго, и мы сидели по избам. Правда, очень-то скучать в нашем перенаселенном доме и зимой не приходилось. Все начиналось с самого утра, когда мы, едва накинув одежонку, выскакивали на крыльцо и соревновались, кто дальше пустит струю. Все было без обмана, схитрить невозможно: на снегу четко обозначены желтые пунктирные следы. Иногда нас, слишком уж разыгравшихся четырех пацанов, загоняли на полати, но и там мы учиняли тарарам с визгом, хохотом, порою – с отчаянным ревом.

Наша тихая бабушка Аня целыми днями нянчилась с маленьким Эдиком, на нас она вовсе не обращала внимания. Через год после приезда она умерла.

Мою маму Ираиду все звали просто Раей, Раечкой. Она была очень красивая. Небольшого роста, с открытым ясным лицом, она в начале тридцатых приехала в Ленинград из Костромской глубинки с ребенком Лёней на руках. Едва увидев ее, мой будущий отец, как вспоминала тетя Лиза, влюбился, долго добивался и все-таки добился ее согласия выйти за

него замуж. Маму он боготворил и дико ревновал ко всем на свете. Лёню усыновил и любил как родного. Вскоре на свет появился я, предмет безмерной родительской любви.

Жили мы на втором этаже в шестнадцатиметровой комнате четырехэтажного дома, даже не в коммунальной квартире, а, как говорилось, в коридорной системе. По существу это было самое настоящее общежитие: через весь этаж проходил узкий коридор, слева и справа – двери в комнаты. Каждые две соседние комнаты отапливались одной общей круглой печкой. Дрова хранились во дворе в бесчисленных сарайчиках, обитых ржавым железом. На всех этажах, кроме первого, где помещалась зеркальная мастерская, было около тридцати комнат. Посередине располагалась огромная кухня, в самом центре ее стоял длиннющий стол. В сторонке – две чугунные раковины-рукомойники. О горячей воде даже не мечтали. Пищу готовили на примусах. Мы жили в комнате № 100, а в 113-ой обитала семья маминой сестры тети Пани.

Нашу счастливую жизнь разорвала война. И вот теперь в родной деревне мама стала простой колхозницей. Рано утром, чуть свет, звонкий колокольчик бригадирши тети Нюры будил деревню. Она обходила избы и «наряжала» людей на работы. Мама трудилась и в поле, и на скотном дворе, и даже наравне с мужиками на лесных делянках, ловила сетями рыбу в Чухломском озере. Мужиков-то в деревне было очень мало, все были на войне.

Однажды поздней осенью, насквозь мокрая, она принесла домой увесистый кусок огромной щуки. Тогда мама жестоко простудилась, и ее больше в рыболовецкую артель не посылали.

В деревне все жили одинаково трудно. На заработанные трудодни мало что выдавали, лишь в ведомостях ставили ничего не обеспечивающие палочки. А в каждой избе – голодные ребятишки, их надо кормить, вот женщины и крутились как могли, надрывались на работах. Мы всё видели и примечали, слышали, как взрослые недобрыми словами костерили господам: надо было регулярно сдавать государству зерно, мясо, овечью шерсть, животное (коровье) масло, куриные яйца. Со слезами подписывались на облигации государственного добровольного займа – добровольным он только назывался.

И все же традиционные праздники, например Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу, а также престольный праздник нашей деревни Абрамьев (Авраамиев) день отмечали весело и сытно. Хозяйки загодя приберегали продукты. С раннего утра во всех избах топят печи, пекутся пироги, на Масленицу – блины, в Пасху – невероятно вкусные куличи и творожные пасхи, а на столах в больших деревянных плошках сияют покрашенные луковой шелухой куриные яички. Утром празднично наряженные матери брали нас с собою в Нероново в церковь, где проходила служба. Хорошо помню, как старенький поп причащал меня, вливал в рот маленькую ложечку с необыкновенно сладкой жидкостью...

В середине дня столы заставлены мисками с обязательной горячей картошкой, студнем, квашеной капустой, огурцами, грибами. А посередине – бутылки с мутным самогоном и с тем же самогоном, только подкрашенным клюквенным морсом. Взрослые пили мало, берегли себя до вечернего застолья. Мы ели «от пуза», бегали по избам в гости, играли, стукались, иногда жульничая, крашеными яичками, ссорились и тут же мирились. У нас была своя жизнь, у взрослых – своя, им было не до нас, и всем было радостно и весело.

Летним вечером на улице, а зимою в чьей-нибудь избе (часто это было в нашей) устраивалось празднество «в складчину»: все приносили с собою на общий стол разную снедь и бутылки с самогоном и брагой.

Нам с полатай было видно все, что происходило в горнице. Сначала в полной тишине произносили тост за победу над проклятыми фашистами, затем, чинно, вполголоса переговариваясь, выпивали из граненых стопок, кричали, морщились, закусывали. Постепенно разговор становился громким и хмельным.

Нередко бывало и так: веселье прерывалось сдавленным женским рыданием. Накануне кому-то пришла похоронка на мужа. Несчастную утешали такие же несчастные, как она.

После очередной стопки наступает время первого парня на деревне – гармониста Бориса Смирнова, которого все в деревне почему-то величали Борькой Сарафановым. Не торопясь, он берет в руки гармонь, растягивает мехи, пробегается пальцами сверху вниз по пуговичкам-басам и голосам и вопросительно смотрит вокруг. Решено начать с песен. Учительница Антонина Алексеевна Крошкина уверенно начинает: «На позицию девушка провожала бойца...» Ее поддерживают остальные. Поют хорошо, слаженно, душевно. «Синенький скромный платочек...», «В далекий край товарищ улетает...», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...», «Из-за острова на стрежень...».

Нам особенно нравилась песня о настоящей мужской дружбе двух фронтовиков, один из них был нашенским, костромичом:

Дрались по-геройски, по-русски  
Два друга в пехоте морской.  
Один паренек был калужский,  
Другой паренек – костромской.

Они, словно братья, сроднились,  
Делили и хлеб, и табак,  
И рядом их ленточки вились  
В огне непрерывных атак.

В штыки ударяли два друга,  
И смерть отступала сама.  
А ну-ка, дай жизни, Калуга!  
Ходи веселей, Кострома!

Но вот под осколком снаряда  
Упал паренек костромской.  
– Со мною возиться не надо, –  
Он другу промолвил с тоской. –

Я знаю, что больше не встану,  
В глазах беспросветная тьма.  
– О смерти задумал ты рано,  
Ходи веселей, Кострома! –

И бережно поднял он друга,  
Но сам застонал и упал.  
– А ну-ка, дай жизни, Калуга, –  
Товарищ чуть слышно сказал.

Теряя сознание от боли,  
Себя подбодряли дружки.  
И тихо по снежному полю  
К своим поползли моряки.

Умолкла свинцовая вьюга,  
Пропала смертельная тьма.  
– А ну-ка, дай жизни, Калуга!

– Ходи веселей, Кострома!

Навсегда запомнил я слова этой песни. У меня тогда была открытка, которую бережно хранил. На ней – матрос в белоснежном маскировочном халате. В руках он держал винтовку со снайперским прицелом. Из-под капюшона виднелась бескозырка. Конечно же, в мечтах я видел себя на его месте, метко стрелял по врагам...

И вот со стола всё убирают, уносят его в сени, а пока девчата и молодые парни под отчаянную дробь каблуков поют частушки – озорные, лукавые, а то и хлесткие о милом и милашке, о голых трудовнях, о подлом изменщике, о гордячке-зазнобе, о бригадире и председателе. Подкалывали и нас, эвакуированных ленинградцев, ведь мы не могли, как местные костромичи, в разговоре заметно напирать на «а» – акать:

Ленинградские чивокалки –  
Чиво, чиво, чиво.  
Прочивокали чивокалки,  
Не стало ничиво!

Почти все частушки пересыпаны солеными словами. Остросовременные и образные – о ненавистном Гитлере:

Сидит Гитлер на заборе,  
Плетет лапти языком,  
Чтобы вшивая команда  
Не ходила босиком.

Сидит Гитлер на березе,  
Яйца болтаются,  
А на яйцах написано:  
«Война кончается».

Частушки явно торопили победу. До конца войны еще было ох как далеко! Еще многие избы огласят округу безысходным воем: туда придет очередная похоронка.

А пока – праздничное веселье. Частушки сменяются общим танцем под названием «Козуля». Он состоит из семи частей, в каждой свой «манер», мелодия, рисунок, ритм. Неторопливый танец сменяется бурным переплясом. В дело вступает трензель. Таких музыкальных инструментов я никогда потом в своей жизни не видывал. Он состоял из блестящего металлического треугольника, толщиной в мизинец. Левой рукой «музыкант» держал небольшую ручку на верхнем углу трензеля, а правой выбивал металлической палочкой звонкую дробь, идеально вступая в мелодию сарафановской трехрядки.

Парни не забывают прикладываться к самогонке. Возпревшему гармонисту подносят особо, уважительно. Он привык к всеобщему вниманию, снимает гармошку с плеча и лихо опрокидывает стопку.

Разгоряченные высоким градусом, ребята вываливаются на улицу покурить, поспорить, повздорить, а иногда покуражиться и подраться. Дрались не очень серьезно, без особого вдохновения, ведь все в деревне свои, многие состоят в близком или дальнем родстве. Драчунов быстро разнимали. Другое дело, когда налетала хмельная ватага из другой деревни выяснять отношения, предъявлять давние претензии. И тут без частушки не обходилось:

Самолет летит,  
Колесы спёрлися.  
Мы не звали вас,  
А вы приперлися.

С криками, матом шли стенка на стенку. Дубасили друг друга кулаками и только что выдернутыми из оград и заранее припасенными кольями. В конце концов неожиданные гости почитали за благо удалиться. Их возбужденные голоса еще долго слышались из-за околицы. Победители дружно распевали:

Нас побить, побить хотели,  
Нас побить пыталися,  
А мы тоже не плошали –  
Того дожидалися.

А вот поножовщины случались крайне редко. Мы с опаской, затаив дух, издалека наблюдали за происходящим до тех пор, пока нас встревоженные матери не водворяли в дом.

Праздник заканчивался на свежем воздухе далеко за полночь громкими нестройными песнями и частушками под залихватскую гармошку Борьки Сарафанова.

Рано утром вновь звучал настойчивый колокольчик тети Нюры. Начинались долгие привычные рабочие будни. И опять я видел уставшую маму лишь вечером, перед сном. Я ей рассказывал, чем занимался целый день, с кем играл в лапту, как ловко выдергивал на конюшне из хвоста смиренной лошади длинные волосы на леску, а потом ловил маленькую рыбешку на пруду, жаловался на появившиеся на ногах цыпки. Мама восторженно и встревоженно ахала, густо смазывала мои ноги до колен сметаной. Не было случая, чтобы она не обняла меня, не наговорила нежных, ласковых слов.

Иногда почтальонша приносила солдатские треугольники от отца и от дяди Лёши – мужа тети Пани. Вечером все обитатели избы садились вокруг стола и при свете керосиновой лампы читали письма вслух. Были они краткие, некоторые строки густо замазаны черным военной цензурой. Отец интересовался нашим житьем-бытьем, передавал всем поименно приветы, неизменно спрашивал обо мне и о брате Лёньке, о том, как я расту, здоров ли, ведь до войны я частенько хворал. Мама платком вытирала слезы, а потом принималась писать отцу ответное письмо.

Тетя Паня почти сразу же по приезде в деревню устроилась на легкую работу – стала счетоводом, а потом и бухгалтером. В деревне все у всех на виду, и вскоре стали поговаривать, что председатель Василий Ефимович Мумрин и Прасковья Полякова не зря частенько вместе ездят в Чухлому. Конюх запрягал лучшего жеребца в легкую двуколку, и они отбывали в райцентр по своим неотложным делам. Мы на полатах слышали, как хозяева дядя Федя и тетя Аня вполголоса их осуждали, сочувствовали жене председателя Степаниде, которая, без сомнения, обо всем давно догадывается, но молчит.

После смерти бабушки Ани с годовалым Эдиком нянчилась одетая во все черное очень богомольная женщина Люба. Она переселилась к нам из соседней деревни. Была она молчаливая и крайне редко выходила из себя, если мы ей очень уж досаждали. «Подтираны! Кровопийцы!» – беззлбно повышала она голос. Но на нас, «подтиранов», ее покрякивания не действовали.

Осенью 1942 года пришло письмо от отца. Он писал, что находится после ранения в госпитале в городе Череповце. Мама сразу же засобиралась к нему.

Провожала ее вся родня. Уезжала она с котомкой гостинцев на попутной повозке до райцентра. А от Чухломы ей предстояло ждать оказию до Галича. Я никак не хотел ее отпускать, в последний момент вцепился в нее и задохнулся от плача. Еле оторвали меня от мамы. Лицо ее было мокрым от слез. Мы еще долго стояли и смотрели вслед повозке, пока она не переправилась на другую сторону Вёксы.

Это сейчас дорога до Череповца занимает совсем немного времени. А тогда, добравшись до Галича, надо было добыть место в теплушке и долго-долго ехать, останавливаясь перед встречными и пропуская попутные составы с военными грузами.

Я очень тосковал. Каждый день бегал к мельнице, долго сидел на широких перилах моста и глядел в сторону деревни Андреевское, ожидая маму. Дни шли за днями, а она все не возвращалась.

И все же прозевал ее приезд. Невдалеке от нашего дома мы с ребятами играли у большой, никогда не просыхающей лужи. И неожиданно я услышал родной голос. Со всех ног кинулся навстречу, раскинул руки и уткнулся в черную юбку мамы. Она бросила на землю поклажу и подхватила меня на руки. В этот миг для меня ничего и никого не существовало, кроме моей мамы. Ощущение безмерной радости, теплоты, счастья захлестнуло меня, и я, обхватив ее шею, залился громким плачем. Мама и сама плакала и смеялась, крепко прижимая меня к себе.

Вечером за столом она рассказывала о дорожных приключениях, об отце. Он уже шел на поправку, и его вскоре должны отправить на фронт. Потом все по очереди рассматривали карандашный рисунок. На нем самодеятельным художником был изображен отец в больничной рубашке. А на его груди – медаль «За отвагу». Тогда я впервые почувствовал, что такое гордость. Гордость за отважного, смелого отца. Ну и что, что медаль приколота не к военной гимнастерке, а к обыкновенной больничной рубашке!

Самое страшное, непоправимое в моей жизни случилось в самом начале 1943 года. Стояли сильные морозы, деревню завалило снегом. В доме было непривычно тихо, взрослые переговаривались вполголоса. Мы на полотах испуганно молчали и старались не смотреть вниз. Там посередине комнаты стоял гроб. В нем лежала моя мама. Она умерла. А мне все казалось, что этого не может быть, что вот она встанет и все будет по-прежнему, она возьмет меня на руки и крепко-крепко прижмет к груди.

В полдень в избу набилось много народу. Кто-то сказал, что надо детям проститься. Нас с братом Лёней подвели к гробу. Лицо мамы было спокойным и неправдоподобно красным. Только тут я понял весь ужас происходящего и в голос заревел. Вместе со мной плакал мой старший брат.

Появился соседский мужик Лёха Крошкин и сказал, что могила готова и пора отправляться, надо все успеть засветло. Гроб закрыли крышкой и вынесли из дома. Помню себя плотно закутанным в тулуп. Лошадь медленно тащит дровни заметенной снегом дорогой в Понижье, что километрах в четырех от нашей деревни.

Наконец мы на месте. В храме зажжены свечи, священник читает заупокойную молитву. Я гляжу на все сквозь слезы, понимая, что это последние мгновения, когда вижу мою маму. И вот я целую бумажную полоску на ее лбу и, рыдая, пытаюсь обнять маму, но меня оттаскивают чьи-то руки.

Свежевырытая могила в двух метрах от стены церкви. Рядом кованый крест на могиле бабушки Ани. Стучат молотки. Крышка прибита к гробу. Мужики на веревках опускают его в могилу. Меня заставляют бросить туда, на гроб с мамой, мерзлый комок земли. Лопаты быстро сделали свое дело. Всё... Женщины обнимают меня, что-то говорят, плачут, я впервые слышу жалостливое: «сирота», «сиротка», «сиротинка».

Я долго не знал, от чего умерла моя мама, пока мне через много лет не рассказали, что из Череповца, где лежал в госпитале отец, она вернулась беременной. У нее уже были мы с братом, и она решила, что родить и воспитывать еще одного ребенка в тяжкие военные годы ей не под силу. Официальные аборт были строго запрещены, и мама прибегла к помощи деревенской бабки. Умерла она от заражения крови. Вот почему в гробу у нее было красное лицо.

От отца с Ленинградского фронта пришло письмо. Он просил тетю Паню сохранить нас с Лёнкой, а уж он, если будет жив, сполна оплатит ее заботы. Оставшиеся после мамы семейные драгоценности он передает ей для нашего воспитания.

Между тем к нам насовсем переселился председатель Мумрин, бросив семью и наплевав на осуждение жителей деревни. Был Василий Ефимович бородат, хамоват, не улыбочив. Человек крутой, убежденный в собственной значимости и непогрешимости, он уважал лишь одно мнение – свое. Изъяснялся с колхозниками в основном матерными словами в самых разных комбинациях. Было ему за пятьдесят, от призыва на фронт был освобожден. Любил к месту и не к месту ввернуть, что он старый вояка: «В Первую империалистическую служил в Вильне каптенармусом». Люди вынуждены были терпеть его самодурство. Но иногда терпению приходил конец. Однажды поздним вечером сильно выпивший Леха Крошкин решил проучить зарвавшегося председателя, а заодно и бухгалтершу. Несмотря на уговоры хозяев дома, он стал подниматься к нам на второй этаж с проклятиями и угрозами. Перепуганные тетя Паня и Мумрин спешно приперли дверь массивным шкафом, уперлись в него, сопротивляясь мощным толчкам разъяренного Лёхи. Мумрин надсадно хрипел, а тетя Паня громко верещала: «Помогите! Караул! Помогите!» С большим трудом прибежавшие соседи уговорили Крошкина оставить в покое ненавистную парочку.

Нам с братом велено было называть Мумрина дедушкой. Дедушка не стеснялся обложить нас матом, за малейшую провинность дать крепкую затрещину. Не очень-то отставала от него и тетя Паня, награждала нас подзатыльниками, ставя в пример своего малолетнего Эдика. После смерти мамы я редко слышал от нее добрые слова. В душе копилась обида, и как-то после незаслуженной трепки и уже привычных обвинений в дармоедстве я впервые в жизни совершил дурной поступок: ни в чем не повинного спящего двоюродного братишку Эдика спихнул с сундука. С тех пор он стал заметно заикаться.

Чем чаще меня обижали, тем больше росло ожесточение, я мечтал скорее стать взрослым и очень сильным. А пока в минуты отчаяния залезал на сеновал и горько плакал, вспоминая маму, ее ласковые прикосновения, родной голос.

Иногда в деревне происходило такое, о чем люди еще долго говорили.

Однажды летом мы с ребятами играли в прятки возле большого дома, где помещалось правление. Мы частенько подлезали под высокий первый этаж, где всегда было темно, прохладно и страшновато. Никто не обращал внимания на свисавшие из щели какие-то заскорузлые кожаные ремни. А вот на этот раз один мальчишка в темноте с разбега больно уткнулся в ремни и взвыл от боли. Дома он признался, откуда у него на лице царапины. Его дед не полез и полез под дом. Отодрал одну доску, другую и обнаружил дореволюционный клад. Там были старинные монеты, блюда из серебра, бронзовые подсвечники. Большую пачку царских бумажных денег он роздал нам, приятелям его внука. В деревне только и говорили о найденном кладе. Дома я честно признался, что много раз видел под домом свисающие из щели старые ремни. Признался и тут же пожалел, получив сильный подзатыльник...

А злополучный дом вскоре дотла сгорел. От чего – никто не знал. На его месте, на берегу пруда, для Мумрина, а, значит, теперь для нашей семьи вырос новый дом.

Как-то у нас появился невесть откуда взявшийся портной. По заказу Мумрина он сшил для него рубаху-косоворотку из нового материала под странным названием «чертова кожа».

Портной, как оказалось, не имел представления, как шить косоворотки. Вместо ворота от правой скулы вниз до груди он соорудил поистине косою ворот – от правого уха до левой подмышки. Дед был вне себя: любая ткань, а тем более новая, была редкостью, люди донашивали старые довоенные одежки до крайней ветхости. Одеть невиданного покроя косоворотку на всеобщее посмешище Мумрин, конечно же, категорически не захотел. От ярости он адресовал портному весь свой богатейший матерный запас, присовокупляя забористое «...в стос!». Ни до, ни после Мумрина я эдакого не слыхивал даже от завзятых матерщинников. (По всей видимости, во время первой мировой войны не шибко грамотный каптенармус отирался возле офицеров, предпочитавших карточную игру *штосс*. Он нередко слышал это мудреное слово и в исковерканном виде приспособил в свой матерный словарь. Вот и получилось неудобоваримое ...*в стос!*).

Взять с бедного портного было нечего, и он прожил у нас несколько дней, перешивая и перелицовывая старые вещи за скудную еду. Деревня помирала со смеху, узнав об истории, приключившейся с председателем.

Внезапно на три дня приехал муж тети Пани дядя Лёша, военный авиационный инженер. Понятия не имею, как тетя Паня объяснила ему проживание в одном доме с председателем колхоза. В эти дни в комнату, где были тетя Паня и ее муж, Мумрин не заходил. Со мной и братом дедушка был необычайно ласков. Дядя Лёша уехал, и всё встало на свои привычные места.

Запомнился и приезд летом в краткий отпуск по ранению Саши Соловьева – то ли двоюродного, то ли троюродного племянника мамы. На нем ладно сидела танкистская форма. На плечах красовались погоны старшины. Ватага восторженных мальчишек преследовала его по пятам. Я был горд, ведь из всех пацанов он выделял меня, называл братиком, приобнимал за плечи, когда мы неторопливо шагали по деревне. А вечерами на огороженную скамейками и утрамбованную сапогами площадку собиралась молодежь на зов гармошки Бори Сарафанова. Тут уж отбою Саше от девчонок не было. Как-то тетя Паня послала меня его разыскать – он не приходил ужинать. Довольно быстро я обнаружил его целующимся с девушкой за сараем. Стараясь быть незамеченным, я ретировался, поглазел на танцующих, не спеша вернулся домой и доложил, что Сашу не нашел. Вскоре он снова ушел на фронт. Провожала его вся молодежь деревни. После войны я видел его лишь один раз и рассказал, как искал его в тот памятный вечер и что видел за сараем.

В один из безоблачных дней на излёте лета раздался непривычный, мощный рокот. Над деревней на очень малой высоте, плавно снижаясь, пролетел в сторону Андреевского настоящий самолет с красными звездами на крыльях. Через несколько минут наступила привычная тишина.

Все колхозники и, конечно же, мы, дети, помчались в соседнюю деревню и – дальше, на скошенное поле, где приземлился самолет. Диво-дивное, невиданная в этих краях железная птица предстала перед нами во всей красе. Возбужденная толпа, громко переговариваясь, плотным кольцом окружила самолет, около которого стояли два летчика и громко просили близко не подходить, не мешать им устранять какую-то неисправность в моторе. Но люди еще долго топтались возле них и стали расходиться лишь после того, как местные женщины принесли летчикам что-то поесть, и они смущенно принялись их благодарить.

Вечером вновь раздался мощный гул, и мы увидели, как самолет, сделав широкий полукруг, растаял в небе.

В сентябре мне исполнилось восемь лет. Я пошел в первый класс. Брат Лёня уже учился в пятом классе в Ножкино, рядом с монастырем, потом забросил учебу и стал работать в кузнице учеником молотобойца. Дружил он с Мишей Крохалевым. Брата привечали в доме Крохалевых: они были родственниками его родного отца, давным-давно невесть где пропавшего.

Наша четырехклассная школа находилась совсем недалеко от Вёксы. В школе были две небольшие комнаты. В одной за партами располагались ученики первого и второго классов, в другой – третьего и четвертого. Учили нас две приветливые, добрые учительницы – Нина Сергеевна Соколова и Антонина Алексеевна Крошкина. Чаще всего я был под опекой Нины Сергеевны. Учебники были старые, затрепанные, писать буквы и цифры мы учились перьевыми ручками на толстой серой бумаге, а иногда и на газетах. Однажды из района прислали для нас несколько новеньких тонких тетрадок в косую линейку. Вожделенные тетрадки достались не всем. В числе прилежных учеников тетрадку получил и я. И был необычайно горд этим.

На переменках в теплую погоду мы играли перед школой в пятнашки, в лапту, а девчонки в коридоре выстраивались в две шеренги, по очереди наступали друг на друга и, обязательно громко топоча, пели:

– А мы просо сеяли, сеяли.  
Ой, дид-ладо сеяли, сеяли.  
– А мы просо вытопчем, вытопчем.  
Ой, дид-ладо вытопчем, вытопчем.  
– А чем же вам вытоптать, вытоптать?  
Ой, дид-ладо вытоптать, вытоптать?  
– А мы коней выпустим, выпустим.  
Ой, дид-ладо выпустим, выпустим.  
– А мы коней в плен возьмем, в плен возьмем.  
Ой, дид-ладо в плен возьмем, в плен возьмем. . .

В школу я ходил с большим удовольствием, учеба давалась легко. Появились у меня новые приятели одноклассники – мальчишки и девчонки из соседней деревеньки Туруково. И среди них Павлушка Гусев, с которым через много лет снова столкнет меня судьба. А обе учительницы и даже молчаливая техничка-истопник Елизавета Михайловна Кузнецова казались мне людьми особенными, необыкновенными.

Ранним январским утром 1944 года нас, всех учеников школы, отправили на один день в Чухлому. Мы радостно разместились на санях, лошади тронулись и неторопливо зашагали зимней дорогой через озеро. Белый-белый упругий наст, прозрачный морозный воздух, только что появившееся на горизонте солнышко, неспешное шуршание полозьев – все было таким празднично-умиротворенным, что мы позабыли о привычных проказах, притихли. В конце недолгого пути я даже не заметил, как задремал.

Днем в большом теплом помещении собралось множество детей со всего района. Солидные дяди и тети долго говорили о пользе хорошей учебы, хвалили нас, наших учителей, зачитывали последние сводки Совимформбюро об успешном наступлении наших войск. Мы дружно хлопали в ладоши, кричали «Ура!». Потом нам показали кинофильм о войне, название которого припомнить не могу, а перед ним – киножурнал о трудовых подвигах работников тыла и очень смешную короткометражку о героических действиях красноармейцев и трусливых недотёпах фрицев.

Вечером в столовой нас сытно и вкусно накормили гороховым супом, котлетами с картофельным пюре и сладким компотом. Разомлевшие от еды, мы так же, как и утром, разместились в санях. Всю обратную дорогу веселились, толкались, задирали девчонок, распевали песни. Учительницы снисходительно глядели на наши шалости. Вернулись домой, когда давным-давно на небе горели яркие холодные звезды.

Каждый год в августе несколько дней подряд Нина Сергеевна и Антонина Алексеевна собирали все четыре класса и вели в поле теревить лен. В летнюю страду рабочих рук не достаёт, приходится прибегать к помощи детей. Мы стараемся изо всех сил. Под палящим солнцем выдергиваем растения из земли, связываем в снопы так, как нам показывают учительницы. Пот застилает глаза, руки саднит, нагибаться и разгибаться все труднее и труднее, хочется пить. Силенок маловато, но виду не показываем. Учительницы все видят и понимают, жалеют нас и после четырех часов работы отпускают по домам. Мы идем не спеша, чувствуя свою значимость.

От отца по-прежнему приходили короткие письма с фронта. В последнем он писал, что участвует в боях за полное снятие блокады с Ленинграда. Я до сих пор помню фразу: «Идем по горам немецких трупов от Красного села в сторону Гатчины». А вскоре пришло письменное сообщение о том, что он в феврале 1944 года пропал без вести. Я стал не просто сиротой, а *круглым* сиротой. Женщины жалели меня, участливо заговаривали со мной, старались приласкать: сироты в деревне были, круглыми – лишь я и брат.

На нас с Лёней тетя Паня оформила опеку. Детям пропавших без вести фронтовиков государство не платило ни копейки, а за опеку полагалось пособие.

По пути в школу и обратно я всегда быстро пробежал мимо дома семьи Мумриных, боялся встретить тетку Степаниду. Удавалось это не всегда. Она из-за калитки молча и, как мне казалось, сердито глядела на меня, ведь на моей голове была одета сползающая на глаза старая ушанка Мумрина.

При очередной встрече тетка Степанида преградила запорошенную снегом тропинку, наклонилась, поправила на мне шапку, неожиданно улыбнулась и сказала, чтобы я не боялся ее. Потом вытащила из кармана полушубка пирожок и вложила его мне в руку. Пирожок оказался теплым, с картофельной начинкой. Конечно же, она меня поджидала специально. Медленно шел домой, и мне долго еще мерещилась добрая улыбка тетки Степаниды.

А война катилась на запад. Люди получали солдатские треугольники уже из самой проклятущей Германии. Иногда с фронта приходили даже небольшие посылки с материей, обувью, брошками, бусами, даже женским бельем невиданного качества.

Ходил слух, что в какой-то деревне нашего района одна многодетная семья получила с фронта посылку, в которой среди прочего было три куска хозяйственного мыла. Два из них хозяйка отвезла в Чухлому и на базаре то ли продала, то ли на что-то обменяла. Потом пришло запоздалое письмо, в нем муж требовал ни под каким видом мыло не расходовать до его возвращения. Как оказалось, именно в тех двух кусках были «замурованы» золотые вещицы. Трудно сказать, правда это была или лишь досужая выдумка, которая оживленно обсуждалась в деревне.

А вот другой слух расплодился по большому секрету: где-то в лесах нашего района нашли пристанище вооруженные дезертиры. Позднее оказалось, что слух этот был не беспочвенным...

Солнечным майским днем со стороны Андреевского прискакал на лошади молодой парень – нарочный из района, промчался вдоль деревни, непрерывно и громко крича лишь одно слово: «Победа! Победа! Победа! Победа!..» Отовсюду к часовне сбежались люди, окружили нарочного. Он только и мог сказать, что поступило правительственное сообщение о конце войны, что он по приказу райкома объезжает деревни. И тут же ускакал по дороге в Туруково.

Все кричали, смеялись, плакали. Плакали женщины. Одни – слезами радости и счастья: их родные вскоре наконец-то вернутся с войны. Другие рыдали от безысходного горя: их мужья и сыновья уже никогда не переступят порог родного дома.

Я, конечно, как и все, радовался, что Гитлеру пришел «капут», но нахлынувшее невыразимо тоскливое чувство одиночества не отпускало меня. Ласковые, участливые слова добрых деревенских женщин еще сильнее бередили незаживающую рану, обостряли сознание неправимости беды, я отворачивался, убегал и тихо плакал, чтобы никто не мог этого заметить.

Весной 1946 года пришел вызов из Ленинграда от дяди Лёши. Вызов пришел не только на нашу семью, но и, к изумлению всей деревни, – на Мумрина.

Мне уже было почти десять лет, я окончил второй класс, многое стал понимать из того, что происходит вокруг. Многому научился, знал, в какой последовательности надо запрягать лошадь, как ее подковать, как на колючей стерне ставить сулоны ловко перевязанных снопов ржи, как молотить снопы на току, как метать стога сена, как «с выходами» станцевать всю «Козулю» и много других премудростей деревенской жизни. Конечно же, все это я знал и умел лишь умозрительно, «про себя». Детский глаз приметливый, мельчайшие детали четко и надолго остаются перед внутренним взором, как на экране. Жаль, через годы все это сначала подзабылось, а затем куда-то уплыло насовсем.

Здесь, в деревне, я твердо усвоил, что такое доброта, душевность, сочувствие простых людей. Познал в полной мере и сердечную глухоту, злобу, несправедливость.

Главное же – здесь я впервые и навсегда подсознательно ощутил себя как маленькую частичку земли, меня никто не учил, но я сам постепенно научился видеть красоту деревенской природы, слышать глухой, таинственный шум леса, различать многоголосье птиц. Сердце подпрыгивало от восторга, когда я бежал напрямки через ржаное поле, расцвеченное васильками. Интересно было наблюдать, как стремительные серпокрылые ласточки сооружают под стрехой гнездо, как внимательно следят вороны с высоченных берез за всем, что происходит внизу на земле. Неизъяснимое, щемящее чувство переполняло душу при виде строгого клина гусей, плывущих высоко в небе в южные края...

Пришел день, когда около нашего дома остановилась невиданная доселе полуторка. От нее непривычно и, как нам, детям, показалось, вкусно пахло бензином. Вынесли из дома чемоданы и узлы, погрузили в открытый кузов, там же расположились Мумрин, Лёня и я, а тетя Паня с Эдиком на руках села рядом с шофером.

Односельчане со стороны молча наблюдали за предотъездной суетой, лишь дети хозяев Катя, Тоня, Миша и Саша, а также мои и Лёнькины приятели топтались рядом с машиной, что-то говорили нам, перебивая друг друга.

Быстрым шагом подошли мои любимые учительницы Нина Сергеевна и Антонина Алексеевна. Я перемахнул через борт и оказался в их объятиях. Они плакали, а я держался изо всех сил. Наконец меня снова посадили в кузов, шофер крутанул мотор заводной ручкой, он зачихал, затем ровно застучал. Раздался протяжный сигнал, и машина тронулась. Ребята с криками бежали сзади почти до мельницы, размахивали руками. Вот и наша речка Вёкса осталась позади.

Прощай, Федоровское, прощай ясное и горькое детство...

## Тридцать три года спустя

*Приду на старый маленький погост,  
Зажгу свечу на холмике заросшем...*

*Ольга Колтакова*

В начале отпускного августа 1969 года меня захлестнуло непреодолимое желание съездить в Федоровское, навестить могилу мамы. Признаюсь, желание возникало еще раньше, но чтобы так остро, так навязчиво – такого не припомню. Долго объяснять Дине не пришлось, жена все сразу поняла, быстро собрала дорожный чемодан.

И вот я уже в Галиче. Проблем с транспортом, как в давние военные годы, нет. Автобус ждет пассажиров у вокзала. Правда, автобус маленький, уже заполнен под завязку, но это не беда, угнезвился в проходе на чемодане. За окошком резво пробегают перелески, зеленые поля, на них пасутся коровы, овцы. Словом, все как тогда, в мои детские годы.

После обеда автобус затормозил в самом центре Чухломы. Спрашиваю молодого водителя, как бы мне добраться до Андреевского. А он так небрежно отвечает, что это проще пареной репы, главное – чтобы я далеко от автобуса не уходил, совсем скоро он сам поведет его в Солигалич, а это по пути. От денег за проезд он решительно, даже с какой-то обидой, отказался.

Тронулись, когда начался сильный дождь. В Андреевском закрытой остановки не было, струи ливня хлестали со всех сторон, ветер норовил сбить с ног, свирепо грохотал гром, сверкали жуткие молнии. Я вскинул на голову свой легкий чемодан в надежде защититься от стихии, но какая там защита – миг стал мокрым насквозь. Медленно, по раскисшей дороге побрел в сторону Федоровского. Вот и речка Вёкса. Вроде все так, да не так: нет нашей старой мельницы. И тут совсем неожиданно притих ветер, распахнулись, умчались тучи, землю залил солнечный свет. Сразу всё вокруг заулыбалось, на душе стало радостно и спокойно. Уже весело зашагал напрямик по глубоким лужам. А чего там, все равно в ботинках давным-давно чавкает вода. Справа от дороги, как ни всматривался, не углядел даже следов когда-то огромных силосных ям.

Волнуясь, вошел в такую знакомую, ставшую родной деревню. На месте, где когда-то стояла ветхая часовня, увидел трех беседующих женщин, подошел к ним, поздоровался. «Ты кто, такой пригожий, будешь-то?» – улыбаясь, спросила одна из них. Я приготовился объяснять, кто я и зачем пожаловал, но лишь только назвал себя, как женщины загомонили, наперебой называя меня «духонькой» – именно так здесь исстари заменяют слово «душенька». Меня они хорошо помнили, помнили брата Лёню и, конечно же, мою маму. Оказалось, в доме Шараповых уже давно никто не живет, он пустует. Старики давно умерли, ребята разъехались, а вот Катерина и Тоня живут в другой стороне района.

Я приуныл. Одна из женщин тут же заметила: «Полно, духонь, андел мой, расстраиваться-то» и повела к себе в избу. Анна Васильевна Смирнова – так звали добрую женщину – нашла сухую одежду, накормила, напоила чаем и уложила спать на сеновале.

Ночью у меня поднялась температура. Накануне я все же здорово простудился под ливнем. Отлеживался двое суток, хозяйка смогла уговорить меня лишь сжевать кусочек горячего пирога, попить заварку с сухой малиной и проглотить несколько каких-то таблеток. Долго валяться в мои планы не входило, я сказал, что хочу пойти в Понизье. Анна Васильевна резонно заметила, что самому мне могилу не найти, а она точно помнит, где похоронена мама, надо еще денек потерпеть, а в воскресенье мы вместе туда сходим.

Вечером вышел из дома. Уже подходил к пруду, где в детстве ловил рыбешку и катался на плоту, как вдруг из проулка, держась за тын, появился пьянящий всклокоченный мужик.

– Ты кто? – дружелюбно обратился он ко мне.

– А ты кто? – улыбаясь, спросил я.

– Я здесь живу, – сказал он твердо.

– Да нет, здесь раньше жил гармонист Борька Сарафанов, – первое, что пришло на ум, сказал я.

– Так я и есть Борька Сарафанов! – заверил он. – А ты-то кто?

– Ну а я – Борька Друян.

– Духонька, Борька! – заорал он и принялся меня обнимать. – Вот это да! Пойдем ко мне, Нюрка нам живо сообразит за встречу!

А его Нюра уже шла нам навстречу в поисках благоверного. Мне стоило большого труда отказаться от немедленного похода в гости. Пообещал, что непременно завтра-послезавтра зайду к ним.

Понизье наверняка так названо потому, что находится намного ниже окрестных деревень. Обычно храмы на Руси строили на взлобках, возвышениях. А вот церковь Преображения Господня была построена именно здесь, в низине – в Понизье, в самом конце восемнадцатого века.

Рано утром, прихватив лопату, мы с Анной Васильевной идем по деревне. Замедляю шаг у двухэтажного дома Шараповых. Двери и окна забиты досками. Невдалеке та самая лужа, возле нее меня подхватила на руки мама, когда возвратилась из поездки в Череповец к раненому отцу. Молча выходим за околицу. И вот вдалеке на уровне глаз, на фоне голубого неба показался темный церковный купол. Слева от зверски раскатанной грунтовой дороги на почти-тельном расстоянии – кустарник, переходящий в смешанный лес, справа – знакомые поля спелой ржи. Моя спутница рассказывает, что церковь после войны сначала закрыли, а потом разорили. Внутри все разломали, растащили все, что было можно. Разобрали бы и кирпичную кладку для колхозных надобностей, да она в старые времена делалась так, что даже тракторы не смогли ее одолеть.

В неторопливых разговорах незаметно дошли до цели. С большим трудом в высоченной траве и крапиве проложили себе тропинку к церкви. Она оказалась действительно в ужасающем состоянии. Мы обошли ее вокруг и остановились буквально в двух метрах от стены. Здесь была похоронена мама. Даже холмика не было, лишь в земле вдавлен, распластан – наверняка тракторными гусеницами – весь изогнутый кованный крест. «Ничего, духонь, ничего, мы с тобою все поправим, вот бабушке твоей еще хуже», – показала Анна Васильевна на остатки такого же креста. Через него проросло большое дерево.

Сквозь кроны деревьев с трудом проникал солнечный свет, вокруг стояла до осязаемости густая, звенящая в ушах тишина. Я попросил женщину посидеть в сторонке, а сам скинул рубаху и принялся за дело. Выполол вокруг креста густую траву, крест сумел поднять, по возможности выправить, поработал лопатой – получился небольшой холмик. Затем внутри церкви подыскал четыре доски и обложил ими могилку. А вот с могилой бабушки Ани сделать что-либо было нельзя, я лишь выполол вокруг дерева траву. И всё.

Мы присели рядом с маминой могилой, Анна Васильевна вытащила из кошелки хлеб, огурцы, маленькую водки и граненый стакан. Пот застилал глаза, сердце непривычно громко колотилось, я сразу же молча проглотил полстакана водки и почувствовал, что не сдержусь, вот она – граница, сейчас горло разорвется от подступившего острого кома. Анна Васильевна тихо, но твердо сказала, чтобы я обязательно попросил Всевышнего упокоить души мамы и бабушки.

Не умел я молиться тогда, не было тогда на мне нательного креста, но я мысленно впервые обратился к Богу, как научила меня простая русская сердобольная женщина.

## Возвращение

*Однообразно и печально  
Шли годы детства моего...*

*Иван Никитин*

Летним солнечным днем 1946 года мы вернулись в Ленинград. Едва зайдя в комнату, я нырнул под стол и принялся шарить по полочкам в надежде отыскать спрятанные до войны плитки шоколада. Увы, там было пусто. Ну, как же так, ведь комната была «забронирована» перед отъездом в эвакуацию, в нее никто не мог проникнуть. Значит, догадался я, шоколад сожрали крысы. А я-то целых пять лет мечтал о своем кладе...

Тетя Паня с дядей Лешей и Эдиком поселились в своей 113 комнате, а мы с братом и Мумриным обосновались в нашей, сотой. Дядя Леша работал на заводе подъемно-транспортного оборудования им. Кирова в отделе технического контроля. Располагался завод недалеко от дома – между Варшавским и Балтийским вокзалами. По утрам его низкий густой гудок звал окрестный люд на работу. К нему присоединялись гудки других заводов за Обводным каналом. Каждый гудок имел свой, «фамильный», голос.

Брат поступил учиться на электромонтера в ремесленное училище на 7-ой Красноармейской улице, где он проводил почти все свое время. Ремесленникам полагалась форменная одежда, их хорошо кормили. Я сам убедился в этом. Однажды Ленька приболел, и тетя Паня послала меня вместо него обедать в ремеслуху. Помнится, я даже расстроился, что брательник быстро оклемался. Жил я с постоянным ощущением голода, был маленьким заморышем. Тетя Паня презрительно называла меня водяной крысой, ведь я без труда пролезал сквозь металлические прутья спинки кровати.

Всем в то время жилось туго, но даже тогда было много не очерстневших сердцем людей. Напротив нас в маленькой комнате жила добрая женщина с двумя детьми. Фамилия ее была Мухина. Перебиваясь, как тогда говорили, «с воды на квас», она иногда залучала меня к себе и угощала квашеной капустой с клюквой. Да и все в нашем длинном коридоре помнили моих родителей, понимали, как несладко мне приходится, и были внимательны ко мне. Тетку мою они не жаловали, называли барыней: она была единственной, кто мог нанять вместо себя делать в ее очередь уборку коридора, кухни и двух уборных. А постоянно убирала за нее сильная, хозяйственная женщина тетя Шура Лебедева, работавшая всю свою жизнь дворником у Балтийского вокзала. К тому же тетя Паня всех настойчиво просила называть ее не Прасковьей Александровной, а «на городской манер» – Полиной Александровной.

Целыми днями я пропадал на улице, там было так интересно! Вместе с новыми приятелями носились среди бесчисленных дровяных сараев, дрались с мальчишками из соседних дворов, рассказывали друг другу страшные были-небылицы, катались на подножках и колбасе пассажирских и грузовых трамваев, умудрялись без билетов прошмыгнуть в кинотеатр имени Карла Маркса – «Карлушу». Здесь я впервые увидел фильм «В шесть часов вечера после войны».

С большим азартом мы играли на мелочь в орлянку, в пристенок. Но чаще – в битку. Посередине нацарапанной на земле черты столбиком ставились монеты. С определенного расстояния по очереди пытались попасть увесистым кругляшом-битком по кучке монет, а затем переворачивали ловким ударом «с оттягом» монеты с орла на решку или наоборот – до первой неудачи, уступая место другому игроку. У меня был хороший глазомер, я частенько выигрывал. Бывало и так, что обыгранные старшие по возрасту пацаны отнимали у меня деньги, а если

я осмеливался артачиться, давали еще чувствительного «леща». Лучше всех играл Женька Моряков из соседнего двухэтажного флигеля. Много лет спустя знатный токарь, Герой Социалистического труда, скромнейший человек любил в тесной компании вспоминать о своих детских успехах и просил меня подтвердить, что все так и было.

Иногда в нашей ватаге возникали легкие конфликты, которые разрешались очень просто: два соперника становились друг против друга в плотном кольце приятелей и по команде начинали драться кулаками. Ноги пускать в ход строжайше запрещалось, как и бить лежачего. Нарушитель строгого кодекса чести жестоко наказывался. Дрались «до первой кровянки» из расквашенного носа или губы. Обиды жили недолго, стычки очень быстро забывались. Вчерашние «дуэлянты» с увлечением гоняли в одной команде в футбол. Вместо мяча годилось его подобие – набитая тряпьем старая шапка, а то и консервная банка. Владелец настоящего мяча из кожмита был для нас человеком особым, значительным. Он появлялся с мячом под мышкой, и мы восторженно глядели на него в предвкушении настоящей игры.

Как ни остерегались, но наши состязания частенько заканчивались разбитым окном, мы летели врассыпную, затем собирались в дальнем краю сараев, опасаясь праведного гнева взрослых. Особенно боялись управдома, приземистого лысого человека. Он знал всех нас поименно, знал, кто где и с кем живет. Мы уже смирились с тем, что от него никуда не скроешься, как ни старайся.

Рядом с нашим подъездом стоял большущий деревянный ящик. В него из зеркальной мастерской рабочие вытряхивали бракованные маленькие кругленькие зеркальца. Мы набивали ими карманы и шли по Измайловскому проспекту в сторону Исаакиевского собора, предлагая встречным женщинам купить за бесценок наш товар. Как правило, всё бывало распродано еще не доходя до Исаакия. На вырученные деньги покупали мороженое на палочке: молочное – по 9 копеек, сливочное – по 12 копеек.

Первый дом по нашему адресу, выходящий на Измайловский проспект, был разрушен немецкой авиабомбой. Над руинами на уровне четвертого этажа на стене косо висела искореженная железная кровать. Пройдут годы, и я прочитаю стихотворение Вадима Шефнера «Зеркало». В блокадном городе на углу Моховой и улицы Пестеля поэт увидел висящее «над пропастью печали и войны» зеркало и написал одно из лучших стихотворений о блокаде Ленинграда.

Как бы ударом страшного тарана  
Здесь половина дома снесена,  
И в облаках морозного тумана  
Обугленная висится стена.

Еще обои порванные помнят  
О прежней жизни, мирной и простой,  
Но двери всех обрушившихся комнат,  
Раскрытые, висят над пустотой.

И пусть я все забуду остальное –  
Мне не забыть, как, на ветру дрожа,  
Висит над бездной зеркало стенное  
На высоте шестого этажа.

Оно каким-то чудом не разбилось.  
Убиты люди, стены сметены –  
Оно висит, судьбы слепая милость,  
Над пропастью печали и войны.

Свидетель довоенного уюта,  
На сыростью изъеденной стене  
Тепло дыханья и улыбку чью-то  
Оно хранит в стеклянной глубине.

Куда ж она, неведомая, делась,  
Иль по дорогам странствует каким  
Та девушка, что в глубь его гляделась  
И косы заплетала перед ним?..

Быть может, это зеркало видало  
Ее последний миг, когда ее  
Хаос обломков камня и металла,  
Обрушась вниз, швырнул в небытие.

Теперь в него и день и ночь глядится  
Лицо ожесточенное войны.  
В нем орудийных выстрелов зарницы  
И зарева тревожные видны.

Его теперь ночная душит сырость,  
Слепят пожары дымом и огнем.  
Но все пройдет. И, что бы ни случилось, –  
Враг никогда не огрызится в нем!

Война оставила в городе несчетное количество варварски уничтоженных домов. Многие из них восстанавливали пленные немцы. Вот и дом № 18 по Измайловскому проспекту заново начали строить немцы. Были они грязные, изможденные, жалкие. Мы, полуголодные ленинградские мальчишки, в большинстве сироты по милости вот этих, еще вчера ненавистных фрицев, совали им в руки корки хлеба, папиросные охнарики, вполне годные для нескольких затяжек, но так, чтобы не видел конвоир. А конвоир, конечно, всё видел, но виду не подавал.

Домой возвращался вечером, где меня ждала привычная трепка за обрызганную кровью в мальчишеской стычке рубаху, за грязные сандалии, прохудившиеся на коленках штаны, за то, что вернулся не вовремя, да и просто попался под горячую руку. Я действительно привык к тычкам и затрещинам тетки и Мумрина. Дядя Леша был нейтрален и постоянно мрачен, делал вид, что ничего вокруг не замечает. Я дал себе зарок: терпеть, ни в коем случае не рассопливливаться, не пускаться в рёв, как бы ни было больно, когда бьют, ведь я уже не маленький. И терпел изо всех сил, молчал, крепко-крепко сжимал зубы и глядел в пол. «Чего морду воротишь, гаденыш! А ну гляди в глаза!» – выворачивая мне руку, шипела тетя Паня. А Мумрин каждый раз удивлялся: «Ну и карахтер у паршивца . . . в стос!» И с еще большим усердием принимался хлестать меня ремнем.

Однажды я здорово провинился. Тетя Паня забыла от меня спрятать в буфет под ключ открытую банку сгущенного молока. Никогда раньше я не пробовал этого продукта. Долго, словно кот, ходил около банки, а потом не выдержал, сунул в вязкую, кремовую массу указательный палец, облизал его и ошалел от наслаждения. Пришел в себя, когда молока в банке осталось меньше половины.

Вечером тетка капитально приложила к моему тощему задку и спине пряжкой ремня, присовокупляя для убедительности матерные мумринские выражения. Но я и тут стерпел, не заплакал, несмотря на сильную боль.

С тех пор тетя Паня нередко кричала, что я сгнию в тюрьме и, как всегда, ставила в пример Эдика, называя его яхонтом драгоценным. Прошло лет десять, и Эдик попал в казенный дом за коллективную кражу. Вместе с теткой я однажды ходил с передачей ему в следственный изолятор на улице Лебедева, недалеко от Финляндского вокзала.

На следующий день после трепки за сгущенку к нам впервые пришли брат дяди Леши и его жена тетя Аня. Чинно сидели за столом, пили чай, гости рассказывали о своей умнющей охотничьей собаке по кличке Троль.

И тут на мою беду тетя Аня подозвала меня, усадила к себе на коленки и просто спросила: «Ну, как, детка, живешь?» Все уставились на нас. Я молчал. Неожиданно тетя Аня заглянула мне в глаза и обеими руками крепко прижала к груди. Так обнимала меня только мама когда-то в раннем детстве. Я вывернулся из объятий и выскочил за дверь. А вслед неслось тётипанино: «Ишь, гаденыш! И не смей возвращаться, сволочь!»

На улице было уже сумрачно и прохладно. А на мне лишь легкая рубашка. Долго сидел в дальнем углу двора на кирпичках. Здесь меня и нашла тетя Аня. Она говорила, что надо смириться, слушаться старших, ведь все взрослые желают мне только хорошего. А вот без спросу сгущенку трогать все-таки не надо было. «Сильно ругалась тетя Паня?» – спросила она. Я молча поднял рубашку и повернулся к ней спиной. Тетя Аня заплакала.

Мы ходили по двору, она обещала поговорить с мужем, и они постараются взять меня к себе, хотя сами живут в коммуналке. Но я не поверил в это, ведь даже моя родная тетя Лиза Шувалова не может взять меня из-за перенаселенности в ее крохотной квартирке.

Домой мы с тетей Аней вернулись вместе. Вскоре гости ушли. А меня почему-то в этот вечер оставили в покое...

Иногда я прибегал к тете Лизе. Жила она на проспекте Огородникова в доме № 48 на первом этаже, рядышком с кинотеатром «Москва». Две ее уже взрослые дочери Люба и Валя работали кассиршами на Балтийском вокзале. Сын Саша воевал, попал в плен к немцам, мыкался по фашистским концлагерям, и вот только что вернулся домой. Был он высок, сухощав, постоянно сутулился, старался быть незаметным, без особой надобности голоса не подавал. Оживлялся мой двоюродный брат лишь тогда, когда «принимал на грудь». Выпить же он очень любил, а выпив, начинал петь жалостливые песни. Особенно выразительно пел «Не для меня придет весна... И дева с черными бровями, она растет не для меня...». Пел и плакал, задыхаясь. В его репертуаре были еще две любимые песни: «А молодого коногона несут с разбитой головой...» и «Там, в саду при долине, Громко пел соловей, А я, мальчик, на чужбине Позабыт от людей...».

Про лагеря Саша рассказывать не любил даже в хмельном состоянии. Он был весь исколот мастерски выполненными татуировками. На его груди был изображен хищный орел с размахом крыльев от плеча до плеча, а между крыльев – солнечный полукруг с лучами. На спине размещалась картина из морской жизни: корабль у причала и матрос с девушкой. На руках и предплечьях жили устрашающие змеи, кинжалы, женские головки. Однажды он взял меня с собой в баню. Живые картины вызвали всеобщий интерес, люди, оставив шайки, беззастенчиво разглядывали Сашу, улыбались, делились впечатлениями. А мне было приятно и радостно: во какой у меня брательник!

Работал Саша электриком на судостроительном заводе у Калинкина моста. Бывало, я подкарауливал его у проходной после дневной смены, мы заглядывали в пивнушку, он опрокидывал стопку водки «с прицепом», то есть с кружкой «Жигулевского» пива, заедал бутербродом с килечкой и половинкой яичка, а я с удовольствием съедал такой же бутерброд.

Пивные в те времена обыкновенно располагались в полуподвальных помещениях, спускались в них «в три прихрама» в основном вчерашние фронтовики-инвалиды. Безногих бережно вносили и выносили на руках. Внутри низко и густо плавал махорочный и папиросный дым, переплетались в едином громкоголосье нетрезвые разговоры. Но – никаких разборок, даже мелких стычек, ведь все свои, из одной фронтовой, кровавой передраги. Могли, конечно, слегка обложить матерком забредшего чужака – «тыловую вошь» они определяли безошибочно. Здесь царил фронтовое братство.

В квартирку Шуваловых я прибегал при каждом удобном случае. Вот здесь я чувствовал себя хорошо, спокойно. Тетя Лиза непременно кормила меня. Особенно мне нравился приготовленный ею мясной суп с вермишелью.

Каждый раз она тяжело вздыхала, когда я уходил домой, перекрестив, шепотом просила терпеть, потому как такая уж жизнь, выхода-то покамест нет, велела чаще заходить к ней. Изредка я все же оставался на ночь. Стелили мне на широченном подоконнике, и я запросто там помещался.

Первого сентября я стал учеником третьего класса 285-ой мужской школы. В те годы ребята и девчонки учились раздельно. Школа находилась очень близко от дома, надо было лишь одолеть узкий проход дворами до улицы Егорова.

Школа мне сразу не понравилась. Большое из красного кирпича неуютное здание. То ли дело школа в Федоровском: небольшой бревенчатый дом, два маленьких класса, в каждом – несколько мальчишек и девчонок, учителя успевают заниматься со всеми вместе и с каждым в отдельности. А тут – классы просторные, в них больше тридцати ребят. Конечно, со временем привык я и к этой школе. Привык, но так и не полюбил ее так, как любил в недавнем прошлом свою первую, деревенскую. Учился без особой охоты, прогуливал уроки, школьных друзей не завел.

Приятельские отношения сложились лишь с соседом по парте по фамилии Голиков. Он здорово рисовал, мгновенно мог перерисовать картинку из учебника – ветку смородины или лежащего львенка. Честно говоря, я завидовал ему, потому как не замечал за собою решительно никаких способностей.

Между тем случилось серьезное событие: был куплен дом с участком земли в поселке Тайцы по дороге на Гатчину. Туда сразу же переехали тетя Паня, Мумрин и Эдик.

Дядя Леша по-прежнему работал на заводе, по-прежнему был замкнут и мрачен. Разве что стал раздражителен, но меня не бил, а только иногда покрикивал. Уходя на работу, оставлял мне миску винегрета с крупно нарезанной свеклой и кусок хлеба. На всю жизнь возненавидел я свеклу, не ел ее ни в винегрете, ни в борще. Через много лет жене стоило большого труда снова приучить меня к этому полезному овощу. А тогда я ел приготовленный дядей винегрет, преодолевая отвращение: всегдашнее ощущение голода не позволяло оставлять пустой алюминиевую миску. Как правило, свою дневную порцию съедал сразу, в один присест.

Однажды дядя Леша забыл дома пропуск на завод, вернулся с полдороги и увидел уже вымытую миску. Он ничего не сказал, но потом стал оставлять мне винегрета больше и, уходя, говорил: «Жри, паразит, понимаешь ли!» На него я никогда не обижался, чувствовал, что человек он все же хороший, но несчастный. Соседки судачили, что он очень уж слабохарактерный, на его месте любой мужик давно бы бросил Паню, к тому же и Эдик-то нисколько на него, светлоголового, не похож, а похож на какого-то чернявого Минкина...

Был зимний пасмурный день. Я пришел из школы и только разделся, как дверь распахнулась и вошел Саша Соловьев в шикарном пальто, длинном вязаном шарфе, лихо сдвинутой

на затылок меховой шапке и белых бурках на ногах. Вслед за ним всплыла необыкновенной красоты девушка в шубке. В руках у нее была муфта и большая сумка.

– Борька, братик, здравствуй, малыш! Ты меня не позабыл? – подхватил он меня на руки. – Вот познакомься, смотри, какая у меня краля, она дочка генерала, нисколько не вру, понял?

Саша был оживлен и заметно под градусом. Девушка, смеясь, чмокнула меня в щеку. От нее приятно пахло духами. Саша стал вываливать на стол из карманов кульки с конфетами, пачки печенья, потом взял из рук спутницы сумку и извлек из нее связку баранок, палку твердой колбасы, две банки шпрот и бутылку «Московской». Все это время он не переставал требовать, чтобы я ел не стесняясь. Саша расспрашивал о нашей теперешней жизни, ведь мы не виделись с тех дней, когда он в танкистской форме приезжал в Федоровское на побывку после ранения.

Я жадно грыз баранки, а про жизнь говорил неохотно, стеснялся черноглазой красавицы. Узнав, что с тетей Паней живет Мумрин, а мы с дядей Лешей обитаем здесь, Саша помрачнел, наверняка, он все хорошо понял. А я постарался перевести разговор, рассказал, как во время войны за ним бегали деревенские девчонки, и я сам видел, как он целовался за сараем с одной из них.

Саша расхохотался и, обращаясь к девушке, сказал:

– Видишь, как меня братик выставил перед тобой? Заложил с потрохами!

Ждать возвращения с работы дяди Леша они не стали. Расцеловав меня, уже открыли дверь, но тут Саша повернулся, взял со стола бутылку водки, сунул в карман, еще раз приобнял меня за плечи, как когда-то в деревне, и быстро вышел.

Больше никогда я его не видел. Потом узнал, что был он лихим человеком, а проще говоря, – налетчиком. В результате долго парился на нарах, надрывался на лесоповале, жил на поселении где-то в Вологодской области. Я давно был на флоте, когда он неожиданно приехал к уже женатому брату Лёне с большими деньгами и жил в нашей комнате, ни на день «не просыхая», пока не пропил все. Это был его последний визит в Ленинград.

Вспоминаю Сашу с теплотой и грустью. Как-то им распорядилась судьбина?..

Весело кипела людскими толпами, гремела из репродукторов маршами, песнями Леонида Утесова ярмарка сразу на двух улицах – Первой Красноармейской и Москвиной. Руководство города решило порадовать ленинградцев, оголодавших за время блокады. Клоуны на ходулях зазывали в ярко раскрашенные балаганы. Кричащие вывески заманивали в павильоны «Пельмени», «Пиво-воды», в тир. Рядом с Измайловским Троицким собором внутри замкнутого круга по стене с ужасным ревом летал мотоциклист. Невдалеке молодые парни в очередь неудачно пытались залезть на гладкий столб, на верхушке которого красовался приз – новенькие сапоги. А чуть дальше столпились вокруг «силомера» здоровенные мужики, так же в очередь, терпеливо ожидая вожделенную кувалду. Пожилой художник за деньги ножничками быстро вырезал из черной бумаги силуэты всех желающих. Безногие инвалиды, пристегнутые к доске на колесиках-шарикоподшипниках, просили милостыню, хрипло пели: «Где ж ты, мой сад, вешняя заря, где же ты, подружка яблонька моя?..». И всюду шныряли мальчишки в надежде чем-нибудь поживиться.

Я облюбовал тетку в синем халате и фуражке с надписью «Гастроном». Перекинутый через шею широкий ремень надежно держал на ее животе лоток с изюмом. Во мне боролись два чувства: чувство голода и чувство стыда и страха. Еще никогда мне не приходилось воровать. Правда, недавно мои приятели-огольцы показывали, как надо в магазине ловко залезать двумя пальцами в карман зазевавшегося покупателя. Но до практики у меня дело не дошло.

Нарочито медленно, как ни в чем не бывало, я подошел к продавщице, схватил горсть изюма и отскочил в сторону. Все бы хорошо, но тетка, видимо, заранее разгадала мои намерения и каким-то чудом успела сорвать с моей головы пилотку.

Пилотка была старая, засаленная, доброго слова не стоила, но я заканючил:

– Те-етьенька, отдай пило-отку!

Тетка расплылась в улыбке:

– Не бойся, мальчик, бери свою пилотку, – и протянула ее мне.

Я осторожно подошел и только взялся за край пилотки, как она ловко схватила меня за запястье, а потом за ухо и пронзительно засвистела в свисток, привязанный к петле халата.

На свист появился милиционер. Тогда они не патрулировали на машинах, а несли службу среди людей, готовые сразу прийти на помощь обиженным. Обиженной была продавщица изюма. Нарушителем, преступником – я. Все было предельно ясно.

Милиционер взял меня за руку и повел по Измайловскому в сторону Варшавского вокзала. Буднично и доброжелательно спросил, где я живу, кто мои родители.

Я односложно отвечал, что живу здесь, недалеко, неопределенно махнув рукой в сторону, а родителей нет.

Помолчав, он сказал, что я украл у женщины, у которой, может, в семье не один такой же, как я, пацаненок, хорошо, если муж с войны живой пришел, вот она целый день и таскает лоток, чтобы заработать на хлеб и, вообще, самое пакостное в жизни – воровство.

Милиционер отпустил мою руку. Мы шли рядом, словно два знакомых человека. На его гимнастерке я заметил нашивку, свидетельствующую о ранении. Значит, был он фронтовиком. Дошли до угла Измайловского и Одиннадцатой Красноармейской. Здесь он остановился, велел подождать, а сам зашел в «Булочную». Удивительно, но она и сейчас, в начале двадцать первого века располагается там же. Запросто я мог тогда удрать, но какое-то неведомое чувство заставило меня покорно стоять.

Милиционер вышел и протянул мне сайку. Я ее мгновенно проглотил. Перед тем, как отпустить меня, он вложил мне в руку несколько монет на мороженое и взял с меня слово, что я никогда в жизни не буду воровать.

Целая жизнь позади, но до сих пор благодарно помню этого доброго человека, фронтовика, постового милиционера.

Дядя Леша решил отвезти меня в Тайцы. Воскресным утром вагон был переполнен. Но мы успели заранее сесть у окна, рядышком с дверью. В проходе один за другим появлялись продавцы мороженого, просто нищие и нищие, играющие на гармошках и поющие.

Медленно вошел высокий человек в гимнастерке с тонкой палкой в руке. Лицо его было обезображено рубцами и страшными следами от ожогов. Был он слепой. На груди сияла Золотая звезда Героя Советского Союза.

Дядя Леша быстро встал, усадил его на свое место, сам сел напротив, а меня посадил на узкую полку для вещей над окном, где я вполне удобно устроился. Честное слово, мне было приятно, что мой дядя самый первый из всех пассажиров пришел на помощь не просто инвалиду, а настоящему Герою. Они о чем-то разговаривали, жаль, из-за перестука колес я наверху ничего не мог слышать...

Солидный бревенчатый дом на улице Калинина был в пятнадцати минутах ходьбы от станции. За домом – тоже из бревен большой сарай, а в нем корова, поросенок и сено до крыши. Позади сарая – картофельные грядки, яблони и кусты смородины и крыжовника. У входа в сарай расположилась приземистая собачья будка. В ней жил Арбо – свирепая немецкая овчарка. Этот цепной пес вскоре стал моим верным другом.

Вечером дядя Леша уехал в Ленинград, а мне здесь предстояло обитать до конца школьных каникул. Ежедневно занимался по хозяйству: окучивал картошку, забирался на яблони и

аккуратно собирал скороспелые яблоки, пилил с Мумриным впрок двуручной пилой дрова, давал корове сено. С большим удовольствием выносил из дома большую алюминиевую плоску с едой для Арбо, а затем поил его водой. Мы любили наперегонки бегать с ним по двору, насколько позволяла прикрепленная кольцом за проволоку цепь. Потом я кидал палку, а он, громко и весело лая, стремглав бежал за ней и приносил мне. Выходил из дома Мумрин, прикрикивал на нас, и игра прекращалась. Арбо, печально звеня цепью, залезал в будку, а я выскакивал за калитку.

Местные таицкие ребята приняли меня в свою компанию. Нас объединяли обычные мальчишеские игры, иногда мы просто так сидели на высоком откосе в конце улицы и смотрели, как внизу, мимо нас, мощные паровозы тащат пассажирские и товарные составы. А через дом от нашего, под уклоном, в зарослях густой травы смиренно покоился пруд. Мы плескались в теплой густой воде, переплывали на другой берег. А там, рядом с шоссе на Гатчину, лежала очень большая неразорвавшаяся немецкая бомба. Понятное дело, ее давно обезвредили, но мы все же с опаской ползали по ее гладким бокам.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.